

Имя своё позабыла она,
Чёрную шерсть замела седина,
Ест иногда, что Господь подаёт.
Мечется, ищет, надеется, ждёт.

Надеется! Ждёт! А слова «верит» нет, оно спрятано, потому что нет в жизни хеппи-энда ни для людей, ни для зверей, потому что «исключено сплошное счастье, исключена сплошная мгла».

Решетов, уезжая или по другим причинам, бывало, отпускал свою собаку на улицу: «Милорд — собака умная, пропитание себе всегда найдёт». Потом искал его. Милорд уходил далеко, до Перми первой. К Лёше не шёл — сердился. Тогда испытанное средство — ведь они частенько пели вместе.

«В лунном сиянье... снег серебрится...» Милорд навострил уши. «Вдоль по дороге... троека мчится... динь-динь-динь...» Милорд не выдерживал: «Ууу-ууу...» Лёша: «Колокольчик звенит...» — «Ууу-ууу...» — «О любви говорит...» И они возвращались домой.

Однажды на Сибирской я увидел, как он шёл вверх по улице мимо дома Дягилева — гениально свободно, погруженный в свои мысли, в своём гениальном беретике. Я не решился подойти к нему. Была твёрдая уверенность: это гений. В душе пели его строчки: «Мне снится рябиновый сад!» «Цыганка на Перми второй!» «Иволга!»

Фитиу-лиу! —
И в мире светло,
Иволга знает своё ремесло!
Сколькох людей спасла эта иволга!

— Вычитал у одной испанской девки...
— Похоже на Габриэлу Мистраль...
— Не помню. Какая разница...
Однажды позвонил мне:
— Сайд, я на тебя надеюсь. Ищу книгу Моэма «Не подводя итогов».
— У меня есть «Подводя итоги».
— Этую я знаю. Мне надо «Не подводя итогов».

— Даже не слышал об этой книге.
— Я на тебя надеялся, Сайд.
Я поражался его умению найти хорошие строчки и в самых слабых стихах:
— «Отгорел, отцвёл иконостас».
Правда хорошо?

Володя Михайлюк:

— Как-то ночью позвонил с вокзала: «Вова, привези мне пива».

— Лёшка, ты змей. Ведь я на костылях, и я должен искать и везти тебе ночью пиво.

— Вова, я знаю, что, кроме тебя, этого никто не сделает. Поэтому тебе и звоню.

— Приеду. Змей ты всё-таки.
Это было испытание дружбы.

Потом...

Случилось, чего опасался:

*На сорок четвёртом году
Я выдохся. Я исписался —
Двух строк по душе не найду.*

Рубеж — 1980 год, начало Афганской войны.

Лёша говорил: «Мне мои стихи не кажутся такими уж хорошими!» И всё же:
*Я вряд ли смогу измениться,
Стать трезвым, не взянуть во лжи.
Я только хочу извиниться
За то, что испортил вам жизнь.
О нет, не сломал, но оплошно
Однажды коснулся её.
Увы, ничего невозможного
Сказать в оправданье своё.*

Стихи, посвящённые Тамаре Катаевой, которая вошла в его жизнь, как будто из раннего шедевра «Кофточка застенчивого цвета».

Проза Решетова внутренне свободна. В «Зёрнышках спелых яблок» сразу проявился его абсолютный слух. Он пользовался зэковскими терминами «точняк» и «фальшак».

Ведь какой трудной была его жизнь! Лев Толстой как-то заметил, что жизнь поэта потому такая тяжёлая, что лучшее из неё он отдал стихам.

«Записки из жёлтого дома»:

«Я пил много дешёвого вина и шнурки стали выползать из дырок чайника и ползать всю ночь по комнате».

Как мало ему надо:

«Сегодня выдали удивительно вкусный обед. Уха из сайры, полардельки с пюре и салат из капусты с луком. Да ешё кисель». Полардельки! Или так: «Это сейчас у меня всё время какие-то

фальшивые претензии. Нет, ни на лимузин, ни на особняк. А вот чтобы выпить никто не мешал. Или недоволен чем-то».

Саша Старовойтов вспоминал:

«...Он бьётся в эпилептическом припадке на полу, упав с дивана...

— Не бойся, старик, — хрипит... это со мной бывает... что, напугал? Не бойся, ничего в этой жизни не бойся, терпи...»

Не о себе он думал, а о друге.

В старости он не растерял своего мастерства. Он не молодится в этом позднем «рембрандтовском» автопортрете — принимайте меня таким, каков я есть.

*Дерево возле пивного ларька,
Ты мне любимой моей показалось.*

*Я любовался тобою, пока
Пивом канистра моя наполнялась.
Той же причёски осенняя медь.
Те же движенья и та же осанка.*

*Множество милых совпавших
примет,*

Даже недавно зажившая ранка.

*Дерево возле пивного ларька,
Я не решился к тебе прикоснуться
Слабой, дрожащей рукой старика,
Только глядел и боялся проснуться.*

Я побывал в екатеринбургской квартире Решетова, у Тамары Катаевой, когда Лёши уже не было на земле. Вышел на балкон: открывался вид на какие-то сараи, обшарпанные каркасно-засыпные строения. Тамара сказала:

— Он любил смотреть на них. Они напоминали ему Березники. Барак, в котором жила его семья, — на границе зоны, где держали власовцев, а потом пленных немцев. Ещё он любил кормить синиц.

Однажды мы сидели с ним на бревне во дворе дома Нади Гашевой. Лёша взял в руки щепку, рассказал, как стрела самодельного лука врезалась ему, пацану, в руку. В зоне немец-хирург безжалостно разрезал ему ладонь, достал стрелу, перевязал руку.

— Ведь не успокоил пацана, не сказал что-нибудь вроде «потерпи».

У Лёши был сундучок детских воспоминаний, к которым он постоянно возвращался.